

«ЗАПИСКИ гр. Э.П.БЕННИГСЕНА»

Об авторе «Записок».

Граф Эммануил Павлович Беннигсен родился в Москве в 1875 г. Образование получил в Императорском Училище Правоведения, курс которого окончил первым с занесением имени на мраморную доску. Начал службу в 1896 г. при Московской Судебной Палате. Через год был избран Старорусским предводителем дворянства. Его инициативе принадлежит начало осуществления в уезде всеобщего начального обучения. В 1903 г. перешел на службу в Финляндию чиновником особых поручений 5-го класса при генерал-губернаторе Н.И. Бобрिकове. В 1904 г. – он на Дальнем Востоке, уполномоченный Красного Креста при 2-ой Армии, однако, по болезни должен был вскоре выехать обратно в Россию, где принял деятельное участие в партийной деятельности, примкнув по своим убеждениям к "Союзу 17-го Октября". Состоял гласным Новгородского губернского и Старорусского уездного земств и почетным мировым судьей. Был членом 3-ей и 4-ой Гос. Дум, где работал в комиссии Государственной Обороны, по Наказу и по Судебным реформам. Был докладчиком по Финляндскому вопросу. С 1912г. состоял членом Главного Управления Красного Креста.

Во время Первой мировой войны был Особоуполномоченным Красного Креста при 9-ой Армии, а затем Главноуполномоченным Западного фронта. Был членом Центрального Комитета о военнопленных и в мае 1917г. был послан в Данию и Норвегию по делам помощи им.

В июне 1919 г. во время движения Юденича на Петроград работал в районе военных действий по гражданскому управлению в освобожденных от большевиков местностях, а затем назначен начальником Петроградской губернии. В 1920 г. переехал во Францию, а в 1936 г. уехал в Бразилию и поселился в городе Сан-Паулу, где в течение 10 лет сотрудничал в газете "Эстадо де Сан-Паулу", помещая в ней статьи по вопросам международным, литературным, и военным..

Во время Второй мировой войны был председателем Русского Сан-Паульского Комитета помощи жертвам войны в СССР.

Скончался граф Беннигсен 8-го Августа 1955 г. в Сан-Паулу.

Э.П.Беннигсен по отцу является праправнуком генерала Л.Л. Беннигсена, начальника штаба у Кутузова в 1812 г. По матери он – внук Н.Ф. фон Мекк, меценатки и многолетней корреспондентки композитора П.И. Чайковского.

Беннигсен оставил «Записки», которые охватывают всю его жизнь (сведения о предках и родственниках, детство и юность, учеба в Училище Правоведения, общественная и государственная деятельность, война с Японией, Первая мировая и гражданская войны, жизнь и деятельность эмиграции во Франции и Бразилии и многое другое). Объем Записок около 1000 страниц машинописи (125 печ. листов, около 3000 имен). «Записки» получены А.Г.Римским-Корсаковым в дар от его дочери М.Э. Степаненко в Бразилии в 1975 году и полулегально доставлены в СССР.

P.S. На сегодня текст «Записок» наполовину оцифрован.

(Отрывки из «Записок» графа Э.П.Беннигсена)

ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ ВОИНА.

Когда 15/28 июля 1914 г. после трехдневной экскурсии на автомобиле по глуши Новгородской и Тверской губерний, где газет я в эти дни не видел, я приехал в имение одного из моих приятелей и услышал от него про ультиматум Австрии Сербии и про то, что в Петербурге положение признается серьезным, возможность войны казалась нам всем совершенно исключенной. И этот день, и два следующие протекли совершенно спокойно, и ничто, даже тон газет, не предвещало столь близкого начала грозных событий; только вечером 17-го ко мне, уже у меня в имении, прибежали с телеграфной станции сообщить о получении телеграммы о мобилизации. Выехав сразу в Петербург, в нашем уездном городе Старой Руссе на вокзале я увидел уже первые признаки войны - некоторых знакомых штатских, отправляющихся в места их призыва, и вообще, массу народа, стремящегося проехать в последнюю минуту перед прекращением нормального движения. Поезд, с которым я ехал, был последним, отходившим по расписанию мирного времени, а через час после его отхода, с 12 часов ночи, вступало в действие мобилизационное расписание. Кстати сказать, и во время мобилизации, да и в первое время после ее окончания для невоенных железнодорожные сообщения были очень затруднены значительным сокращением пассажирского движения.

Хотя объявление мобилизации и являлось само по себе грозным признаком, однако, все же не верилось в возможность наступления войны. По моей 7-летней работе в качестве члена Гос. Думы и члена и секретаря Комиссии по Гос. Обороне, я был близко знаком с состоянием наших военных и морских сил, и знал, что оно все еще было таково, что вынуждало нас быть миролюбивыми до крайних пределов. Я не хочу сказать этим, что Россия была в 1914 г. неподготовлена к войне, но, тем не менее, перед ней оставалось еще сделать многое, чтобы она могла смотреть вполне спокойно на будущее. ///.....//

Еще 18-го утром надеялись на возможность мирного исхода, а уже 19-го днем германский посол граф Пурталес передал министру Иностранных Дел Сазонову ноту об объявлении Германией войны России. Петроград принял войну спокойно; даже больше - еще в начале июля в Петрограде и его окрестностях состоялись массовые забастовки фабрично-заводских рабочих, которые ставили в связь с агитацией германских агентов, но как только появились известия о начале конфликта с Германией, то точно по мановению руки все эти забастовки прекратились. Замечу, кстати, что о конфликте с Австрией никто не говорил. Возмущались ультиматумом Австрии к Сербии, но для России Австрия как будто не существовала. Для всех было ясно, что Австрия одна ничто и что все, что она делает, подсказывает ей Германия. Поэтому даже в простом народе о войне с Австрией не было почти разговоров, все мысли, все вопросы сводились неизбежно к Германии. В тех кружках, которые образовывались около объявлений о мобилизации, около газетчиков, в трамваях - везде шла речь о Германии и почти исключительно о Германии. Однако, ненависти к немцам в то время еще ни у кого не было, и почти все считали, что собственно немецкий народ сам войны не желает, а его толкает на нее правительство и его император, жаждущий военных лавров, Вильгельм II. Враждебное отношение к немцам появилось лишь позднее, когда получились известия об обращении их с русскими, которых война застала в Германии, а особенно тогда, как то с одного, то с другого фронта стали приходить расска-

зы о жестоком обращении с нашими пленными и особенно с ранеными. Однако, несмотря на отсутствие враждебности к немцам, отношение к войне было совсем иным, чем в 1904 г.: та война была непонятна и потому непопулярна, эта же не требовала объяснений, и все сознавали, что рано или поздно, несмотря на все миролюбие Россин, без нее было не обойтись. И так, когда 19-го днем стало известно, что война уже факт, то в общем настроении перемены от этого не произошло, тем более, что за последние дни на мирный исход мало надеялись. Мобилизация шла так, как все было назначено; 18-ое было первым ее днем, и 19-го уже повсеместно происходила явка запасных, начинался осмотр лошадей, местами повозок, и готовилась реквизиция автомобилей (закон о ней еще не успел пройти через Гос. Думу, и пришлось теперь проводить его в спешном порядке). Вообще все наши мобилизационные планы оказались выработанными отлично и мобилизация прошла великолепно. В первые дни ее эшелоны приходили на фронт с удивительной точностью, опаздывая всего на час, полчаса. Позднее, вследствие неизбежных при такой напряженной работе случайностей, вроде, например, крушений поездов и т.д., запоздания увеличились, но и то серьезного значения не имели. /.../

21-го Июля (ст.ст) по случаю объявления войны был торжественный выход в Зимнем дворце. Настроение у всех было приподнятое, и речь государя, в которой он заявлял о твердом своем намерении не класть оружия, пока хотя бы один неприятельский солдат останется на русской земле, вызвала бурные крики «ура»; некоторые из молодых офицеров в порыве воодушевления выхватили шашки и размахивали ими по воздуху. Можно было с уверенностью сказать, что с речью государя были согласны сплошь все присутствующие в этот день во дворце. Встретил я на выходе начальника генерального штаба генерала Янушкевича, только что назначенного начальником штаба Верховного Главнокомандующего, и великого князя Николая Николаевича. Кто будет верховным главнокомандующим, по-видимому, оставалось невыясненным до последней минуты; по крайней мере, еще зимой 1913-1914 г. один из видных чинов Военного министерства, генерал Н.А. Данилов, передавал мне, что когда Сухомлинов попытался выяснить этот вопрос при общем докладе государю о разных мобилизационных предположениях, то получил ответ: «А почему бы мне не взять это на себя?». После сего вопрос этот, как говорят, более не возбуждался вновь до самой войны. Почему теперь государь не принял сряду сам на себя этих обязанностей, не знаю. Быть может, Сухомлинов прямо указал ему на великого князя Николая Николаевича, и он, по свойственной ему нелюбви к прямому отклонению предлагаемого ему, подчинился этому указанию; быть может, причина была иная, но, во всяком случае, был избран кандидат наилучший из всех, которых можно было бы тогда указать. Знаток военного дела, человек с известной волей, доходившей подчас почти до жестокости, великий князь Николай Николаевич был, вместе с тем, единственным лицом безусловно вполне не независимым от всяких посторонних влияний и притом достаточно сильным, дабы провести необходимые перемены в далеко не идеальном нашем высшем командном составе. Должность начальника и генерала-квартирмейстера его штаба по положению уже раньше полагалось заместить начальником и генералом-квартирмейстером Главного Управления Генерального Штаба, поэтому на них и были назначены тогдашние носители этих должностей - генералы Янушкевич и Данилов.

На следующий день, 22-го июля, к 4-м часам дня я был на товарной станции Варшавской железной дороги. Эшелон уже был посажен, и заканчивались только некоторые

приготовления. Так как станция расположена вдали от города, то постороннего народа почти не было - собралась только группа родных и близких, уезжающих с эшелонном. Минута была волнующая: сознание той опасности, на которые идут уезжающие, страх за их судьбу, уверенность, что многие назад не вернуться, делали ее незабываемой. Вместе с тем, благодаря слезам родных, последним их благословениям и все повторяющимся последним поцелуям матерей и жен, она была глубоко трагичной. Я ехал не в бой и мог поэтому относиться гораздо спокойнее к той драме, которая передо мной происходила, и, тем не менее, она глубоко захватывала. Но вот раздался последний сигнал, поезд начинает медленно двигаться, раздается «ура» отъезжающих и части провожающих, другая часть которых в это время горько рыдает, а одна из женщин, две недели тому назад обвенчавшаяся с вольноопределяющимся Катковым, падает в обморок.

Командиром эскадрона был командир шедшего в нем 3-го эскадрона Конной Гвардии ротмистр барон П.Н.Врангель. Горный инженер по образованию, он первоначально начал службу по гражданскому ведомству, во время японской войны был призван в Забайкальские казаки и после войны остался на военной службе, перейдя в Конную Гвардию, в которой отбывал первоначально воинскую повинность. Пройдя прекрасно курс Военной Академии, он не пошел затем в Ген. Штаб, а вернулся в родной полк, в рядах которого и пошел на войну. Любопытно, что в Академии он был на одном курсе с будущим маршалом Шапошниковым, и все время у них шло соревнование за первое место. Победил Врангель, как мне говорил один общий их товарищ, благодаря его большому апломбу; надо отметить, и в Конном полку посмеивались над любовью Врангеля пускать пыль в глаза. Позднее он был назначен полковым командиром, и ко времени революции был уже генералом и командовал казачьей бригадой. Роль его в гражданской войне, и особенно в Крыму, всем известна. Кроме него в эскадроне шли офицерами мой брат и несколько совсем молодых офицеров, из них отмечу поручика Каткова, очень милого, образованного и серьезного человека и его брата, вольноопределяющегося, милого юношу, только в Мае окончившего курс Московского Лицея.

Меня поместили в одном купе с числившимся в полку флигель-адъютантом полковником Козляниновым. Несмотря на его чин, военного в нем было мало; по крайней мере, он несколько раз принимался говорить о том, что он не представляет себе, как он будет воевать, и выражал надежду, что к Декабрю, когда в Петроградском балете начинаются интересные спектакли, война уже закончится. Кроме мужчин в вагоне были и две дамы: жены Врангеля и моего брата, обе сестры милосердия, ехавшие до Вильны, дабы там начать работать в местных учреждениях Красного Креста.

Как офицеры, так и солдаты, среди которых запасных было очень мало, шли на войну очень весело, совсем не чувствовалась в них тревога перед грозной неизвестностью. Молодежь расспрашивала Врангеля и моего брата, проделавших всю японскую войну, о разных практических вопросах, но все это делалось совершенно спокойно. Военный опыт старших офицеров сказывался уже здесь, далеко еще от фронта, в целом ряде мелочей, и при отправке, и в движении. Между прочим, помнится мне, как Врангель на одной из станций подозвал к себе одного унтер-офицера, чтобы отдать ему какое-то приказание. Фамилия этого унтер-офицера почему-то запомнилась мне, и вспомнилась через полгода, когда я услышав рассказ одного из офицеров полка про гибель этого и другого унтер-офицера: их эскадрон во время Августовских боев, в Сентябре, должен был под давлением германцев отойти, причем оба они, серьезно раненые, не могли быть вынесены. Через не-

сколько часов, получив подкрепления, эскадрон перешел в наступление и вновь занял свою прежнюю позицию, на которой и нашел обоих этих унтер-офицеров, но уже убитыми, с снесенными саблями черепами и с выковырянными остриями сабель мозгами, лежавшими тут же рядом.

В Гатчине вокзал был переполнен, и эшелон провожали криками «ура», но ничего особенного здесь не было, зато на следующих станциях проводы имели везде трогательный и часто величественный характер, особенно на Сиверской, где в конце Июня Конная Гвардия была на сторожевке и где тогда и офицеры, и солдаты свели много знакомств. Повсюду солдат одаряли сладостями, фруктами, чаем, сахаром и папиросами, многие совали им деньги. При отходе эшелона везде гремело «ура» и почти везде пели «Боже, царя храни». Словом, бóльший подъем трудно было себе представить. Благодаря всем этим проводам, лишь поздно ночью удалось нам всем улечься, чему, впрочем, способствовало и приподнятое у всех нервное настроение. На следующее утро настроение на станциях было уже не то: вместо русской массы здесь видны были больше евреи, которые относились к проходящим войскам безразлично, русских было немного, и только иногда бывало видно, как к солдату подойдет какая-нибудь женщина и сунет ему белого хлеба, яблоки или иную какую-нибудь снедь.

Перед входом на станцию Вильно, уже поздним вечером, нас довольно долго придержали у семафора. Кое-кто уже спал, женатые офицеры проводили последние минуты с женами своими, я же гулял вдоль полотна с младшим Катковым, делившимся со мной своими опасениями за судьбу своих близких в случае, если он будет убит, в чем он был уверен - предчувствие, которое его не обмануло.

Около 12 часов ночи мы были в Вильне. Вокзал оказался переполненным. Всюду, где было только возможно, лежали и спали люди, большею частью целыми семьями; в громадном большинстве это были евреи. Как оказалось, комендант крепости Ковно (тогда это был, кажется, приобретший себе позднее позорную известность своим бегством из крепости, когда некоторые форты ее были заняты немцами - генерал Григорьев) распорядился срочно выселить из города Ковно все еврейское население, и вот часть его я и видел перед собой. Впервые увидел я тут сцену, подобные которым позднее - в 1916-1917 годах - стали обычными: отходил поезд на Минск, и при мне, ожидавшая его толпа, брала его приступом - влезала не только через двери, но и через окна, кое-как протаскивала затем багаж. Но, конечно, не всем это удавалось, и по уходе поезда на платформе осталось порядочно багажа, который не смогли втащить в вагон, и среди него несколько горько плачущих женщин и детей, прочие члены семей которых уехали с поездом, невольно разлученные с ними. Начиналось знакомство с ужасами тыла войны.

Проехав от вокзала несколько шагов, у узких Остробрамских ворот, я был задержан Оренбургским пехотным полком, выступавшим из города на фронт уже во вполне мобилизованном виде. Кроме этого, в эту чудную летнюю ночь война не сказывалась в городе ничем.

На следующее утро я отправился первым делом в лагерь, где помещался еще штаб командующего войсками округа, генерала Ренненкампа, назначенного ныне командующим 1-ой армией. О личности этого генерала, которого я видел лично всего-навсего 2 или 3 раза, много говорить не приходится: по всему, что о нем приходилось слышать, это был тип средневекового кондотьера. Лично очень храбрый, сам прекрасный кавалерист, он был очень хорош на должностях до корпусного командира включительно, и во время

японской войны оказался одним из немногих генералов, заслуживших себе хорошее боевое имя. Но, к сожалению, уже тогда слишком свободное расходование им казенных денег вызывало на него не мало нареканий. Тем не менее, это был один из тех генералов, на которых перед войной более всего надеялись. Как известно, эти надежды совершенно не оправдались, и уже к началу 1915 года Ренненкампф был смещен, причем некоторые его хозяйственные операции вызвали судебное расследование. /.../

И от Ренненкампфа, и от начальника его штаба я не узнал ничего, кроме того, что немцы на нас наступают и что наше сосредоточение производится западнее, чем предполагалось. Не смог мне ничего сказать и мой старый знакомый по Гельсингфорсу генерал Янов, назначенный начальником этапно-хозяйственного отдела Штаба 2-ой армии. Так как «Положение о полевом управлении армией» было получено всего за несколько дней, то Янов едва успел сформировать свое управление, а между тем дело не ждало и он должен был выполнять всю громадную работу и по мобилизации военного округа, и по снабжению армии, готовившейся к наступлению. Меня наиболее интересовало положение санитарной части, но и в этом отношении я ничего не узнал. Было известно только, что госпитали начнут подходить только после окончания перевозки войск и что посему первое время положение войск в санитарном отношении будет весьма печальным. Более же детального я не мог узнать ничего: не могли мне сказать даже ничего про 2-ую армию, прикнущую к левому флангу первой и входивший вместе с ней в состав Северо-Западного фронта. /..../

При возвращении в Вильно, я услышал здесь первые слухи о начавшихся боях. Слухи эти были для нас неблагоприятны: говорили про неудачное наше наступление, про большие потери расположенных в Вильне полков, особенно Оренбургского, попавшего будто бы в засаду, причем командир его, полковник Ген. Штаба Комаров был убит. К счастью, хотя сведения о больших потерях и подтвердились, однако, сообщения об общей неудаче были не вполне верны, хотя частные неудачи и были. Наоборот, в четырехдневном бою 4-7 Августа у Сталлупенена и Гумбинена 1-ой армии удалось опрокинуть немцев, начавших отходить к Кенигсбергу.

На флангах 1-ой армии наступала, главным образом, кавалерия и, в частности, 6-го Августа в часы полного солнечного затмения, гвардейская кавалерия столкнулась у Каушена с немецкой резервной бригадой. О бое этом много было написано, и, несомненно, для 4-х полков он был славным, в нем, однако, проявились и все недостатки нашей армии. Поэтому, по поводу его, я коснусь и вопросов непосредственно с боем не связанных. Отмечу, что 1-ая Гвардейская кавалерийская дивизия уже после этого наступления лишилась значительного числа лошадей: как кавалерийская, она была посажена на очень крупных тяжелых лошадей, которые стоили гораздо дороже других, однако, кредиты на их покупку не отличались от других, и в результате приходилось задерживать лошадей в строю дольше предельного возраста. После первых же недель войны они оказались к службе совершенно негодными, и дивизию пришлось отвести в тыл для немедленного пополнения ее конного состава. /..../

Из 8 полков, бывших под Каушеном, четыре фактически участия в бою не принимали, ибо командиры их проявили просто трусость. Брат рассказывал мне, что при нем Хан Нахичеванский отправил великого князя Дмитрия Павловича в кирасирскую бригаду, чтобы заставить ее наступать; до этого два других его однородных приказа не были

исполнены, и он надеялся, что великокняжеский авторитет сдвинет их полки с места, но и это приказание исполнено не было. Оба эти командира - Арапов и Верман - были сразу смещены, вскоре та же судьба постигла и двух других, и после этого все четыре полка дрались прекрасно. Зато все остальные командиры и все заменившие устраненных вели себя прекрасно. Перед началом боя командир конно-гренадер Лопухин встретил возвращающийся разъезд с убитым офицером. «Кого везете?»-«Корнета Лопухина», - был ответ. Лопухин слез с лошади, поцеловал и перекрестил убитого сына и повел полк в бой, чтобы через час самому быть убитым. В начале боя уланы и кавалергарды произвели конные атаки, но неудачно, не удались атаки и в пешем строю, и эскадроны залегли, не дойдя до немцев. И кавалергарды, и конногвардейцы понесли при этом огромные потери в офицерах: в Конной гвардии из 24 бывших утром в строю офицеров 16 были убиты или ранены. Объяснялось это тем, что во многих частях считалось неподходящим для офицеров, особенно гвардии, ложиться, и немцы могли бить их на выбор. В то время, как солдаты делали перебежки, как к этому их подготавливали, офицеры шли, ни на мгновение не нагибаясь. Благодаря этому и получилась дикая несоразмерность в потерях между офицерами и солдатами. Нужно сказать, что и вообще потери в офицерском составе были в начале колоссальными, ибо при полном во многих частях плане мобилизации комплект офицеров считался совершенно необходимым, чтобы все они шли в бой, а так как они всегда обязаны были находиться впереди, то их и выбивали в громадном количестве, и вскоре армия осталась с ничтожным числом кадровых офицеров. И вообще офицеров у нас не берегли, особенно в начале войны. У немцев рота шла в бой с одним и самое большее с двумя офицерами, тогда как у нас ее вели все пять. Но у нас установить подобные правила считалось невозможным в виду более низкого умственного развития нашего солдата и необходимости держать его под офицерским руководством. Неудивительно, что уже осенью 1914 года у нас батальонами часто командовали поручики, а ротами часто прапорщики. Рядом с этим в кавалерийских полках бывало более 40 офицеров. Брат рассказывал мне, что как-то их полк с его более, чем 30 офицерами где-то под Варшавой занял окопы одной роты с одним прапорщиком, который только вздохнул, увидев это изобилие офицеров. Только уже в последний год войны каждая кавалерийская дивизия сформировала по пехотному полку.

Возвращаюсь собственно к Каушенскому бою. Эскадрон, с которым я ехал до Вильны, был в этот день при штабе, охраняя штандарты. Бой, начавшийся около полудня, затягивался, и части использовали все свои боевые запасы настолько, что этому эскадрону было приказано передать свои патроны на фронт. В эту минуту прискакал, однако, офицер-артиллерист Гершельман доложить, что с их наблюдательного пункта выяснена возможность незаметно подойти на близкое расстояние к немецкой батарее в центре их позиций. Сряду эскадрону Врангеля раздали патроны обратно, и Гершельман повел эскадрон, единственный еще не введенный тогда в бой. Атака удалась, прислуга батареи и рота прикрытия были изрублены, но эскадрон, потерявший половину своего состава, фактически рассыпался. Врангель и брат, у которых были убиты лошади, вбежали на батарею, когда на ней уже приканчивали немцев; лежавший на земле раненый немецкий ротный командир нацелился еще в брата из револьвера, но один из солдат раздробил ему прикладом череп. Врангель остался при орудиях, чтобы кто-нибудь другой не перехватил полагавшийся ему по статуту Орден Святого Георгия, а брата послал с «эскадроном» брать мельницу в самом центре позиции. Эскадрон, однако, в эту минуту представляли всего 4 солдата, к

которым на сигналы брата шашкой собралось еще человек 30, но четырех различных полков, и с ними он взял мельницу, где, впрочем, сопротивление было оказано слабое. Продвинувшись еще дальше, он услышал вдруг на мельнице звуки рояля; за ним на нее пришел командир кавалергардов князь Долгоруков с двумя офицерами, один из которых сел за рояль. Брат говорил, что эта музыка во время боя, еще незаконченного, была одним из самых странных его впечатлений.

Бой под Каушеном, в котором был разбит значительно более сильный неприятель, был, конечно, ничтожным эпизодом в этой громадной войне, но участники его могли гордиться своим успехом. Однако он не дал никаких результатов, ибо после боя Хан Нахичеванский отвел корпус более, чем на 20 верст назад, ибо у него не оставалось ни снарядов, ни патронов. Возможно, что так и следовало сделать, но у меня осталось впечатление, что не сделай он этого, и прояви хоть малейшую активность, бой 7-го Августа под Гумбиненом, и так, в общем, удачный, мог бы закончиться полным разгромом немцев. Их левый фланг обрушился под утро на нашу правифланговую дивизию, 27-ую, или 28-ую, и разгромил ее. Возможно, что если бы Нахичеванский оставался висеть на их фланге, то их продвижение замедлилось бы и наша дивизия была бы спасена, а затем был бы разгромлен не один правый фланг немцев, на котором следующей ночью, хорошо дравшийся днем 1-ый корпус Макензена, прямо бежал.

Между прочим, в эти бои 6-го Августа славная, но тяжелая доля выпала на часть гвардейской кавалерии, половина которой, т.е. 20 эскадронов или около 2000 бойцов со слабой их конной артиллерией опрокинули германскую пехотную бригаду, почти в 2 раза их сильнейшую. При этом, однако, наша кавалерия понесла большие потери в офицерском составе, особенно Конная Гвардия и кавалергарды...

В бою 6-го Августа славную роль сыграл 3-ий эскадрон Конной Гвардии, с которым я ехал до Вильны. Атака в пешем строю удалась, но около трети эскадрона выбыло в несколько минут из строя; убитыми оказались и оба брата Каткова: младшему вольноопределяющемуся снесло шрапнелью череп, старший прожил несколько минут после ранения в грудь, уверенный, что брат его уцелел. Тяжело был ранен в голову корнет князь Накашидзе, успевший, однако, прежде чем потерять сознание, зарубить ранившего его немца. Вообще бой был ожесточенный; пленных почти не было.

За Каушен брату было присуждено Георгиевское оружие, и позднее этого ему самому несколько раз приходилось принимать участие в заседаниях Думы этого оружия, Георгиевской Думе. /...../

Сряду после приезда Дашкова мы отправились с ним вместе в Белосток, где в то время находился Штаб Главнокомандующего Западным фронтом, дабы представиться генералу Жилинскому. Встреча его с Дашковым была дружественная, ибо он был его старшим товарищем по кавалергардскому полку. О военных операциях мы узнали мало, только на мой вопрос, что делает 2-ая армия и почему она не развивает успех, достигнутый 1-ой армией у Гумбинена, Жилинский с явным недовольством ответил мне: «Я все время тороплю Самсонова, но он утверждает, что он не может наступать, что у него тыл еще для этого не готов; сегодня, впрочем, он, кажется, перейдет-таки границу». Насколько помнится, это было 10-го Августа. Позднее, когда я прочитал телеграмму про катастрофу с Самсоновской армией, то эта фраза сразу встала у меня в голове, и тогда уже

у меня возникла мысль о том, кто в действительности виноват в ней – вопрос, полного ответа на который еще не дано и по сей час. Ни Жилинского, ни его начальника штаба Орановского я не знал, и по сему о них судить не берусь, деятельность его и в японскую, и в настоящую войну была, несомненно, неудачна, так что воспоминания о них осталось в армии плохое; оба они были сменены уже к началу 1915 года. О последнем из них вспомнили лишь, когда он летом 1917 года был зверски убит солдатами в Выборге. Жилинского же попытались послать во Францию, как начальника русской военной миссии, но уже вскоре, еще до революции, пришлось его сменить оттуда за бестактности им там наделанные.

9-го Августа утром были получены первые сведения о деталях боев 6-го Августа, а через несколько часов пришел поезд с ранеными в этих боях, в числе которых оказалось несколько моих знакомых. Привезли и несколько тяжелораненых, которых сняли с поездов в Вильне в виду опасности дальнейшей их перевозки. Почти одновременно приехали сюда к некоторым из них их родственники, дабы не отсутствовать в случае, если бы течение ранения приняло смертельный характер. Приехали и родственники некоторых убитых за их телами. Все они создавали в Вильне, несмотря на успешный исход боев, довольно подавленную атмосферу. Особенно грустно было видеть отца двух убитых в этом бою моих спутников Катковых, который, совершенно подавленный их смертью, как-то с глубокой грустью, хотя и спокойно, поведал мне, что с гибелью их у него исчезло все в жизни, ибо, кроме их, у него не осталось никого. И действительно, уже следующей зимой он умер от быстро развившегося у него порока сердца.

Во время нашего визита в Белосток выяснилось, что в состав Северо-Западного фронта войдут также 9-ая и 10-ая армии, которые должны были быть сформированными из войск еще только подходящих на фронт. В 9-ую армию, которая должна была формироваться в Варшаве, Дашков решил назначить особоуполномоченным сенатора Тимрота, приехавшего сразу после него и ожидавшего назначения. Тимрот тотчас отправился в Варшаву. Здесь, однако, когда он пытался принять в свое заведывание некоторые учреждения Красного Креста, предназначенные для обслуживания 9-ой армии, то ему сразу же пришлось вступить в конфликт с особоуполномоченным при 2-ой армии А.И.Гучковым, который уже по праву первого прибывшего, начал распоряжаться ими. Варшава в район 2-ой армии собственно не входила, но так как в этом крупном центре еще не было официального представителя Красного Креста, то Гучков и принял на себя его обязанности, и работа у него закипела; при этом он удачно использовал момент появления воззвания Верховного Главнокомандующего и сумел привлечь к организации самой санитарной помощи польское общество, очень многое сделавшее здесь для русской армии, вплоть до самого оставления Варшавы.

Наряду с Гучковым, человеком с большим общественным именем, Тимрот, усердный чиновник немецкой складки, но далеко не светило, ни для польского общества, ни для деятелей Красного Креста ничего не представлял, и по сему естественно, что в Варшаве он никакой роли играть не мог, тем более, что и армия, при которой он должен был работать, еще не собралась. Поэтому вполне понятно, что Гучков отказывался передать ему учреждения, уже поступившие в его

ведение и необходимые ему, ибо со дня на день можно было ожидать начала крупных боев во 2-ой армии. Между тем, Дашков из Вильны, стараясь наладить отношения между Тимротом и Гучковым посылкой телеграмм обоим, достиг лишь того, что Гучков обиделся и прислал Дашкову резкий ответ, а следом за ним приехал улаживать отношения его помощник князь И.А.Куракин, мой товарищ по 3-ей Гос. Думе. Тогда Дашков и предложил мне съездить в Варшаву и переговорить с Гучковым и успокоить его. Я принял это предложение с удовольствием, ибо работа с Дашковым оказалась, вопреки всем моим ожиданиям, совершенно мне не отвечающей.

Несмотря на пожилые годы, у Дашкова совершенно не оказалось умения работать, а тем более руководить крупным делом; при том у него были все привычки старого барина - он любил поспать, хорошо покушать и долго посидеть после еды. Не было в нем желания отказаться от всяких удобств, что было безусловно необходимо во время войны, и, кроме того, у него не оказалось совершенно знакомства с условиями боевой обстановки, а посему мне пришлось вводить его в нее. Дашков был офицером Кавалергардского полка, но дальше полкового адъютанта не пошел и военное дело совершенно забыл. В результате, мне пришлось проводить с ним все мое время, сидеть у него в кабинете целые дни, уставать страшно, а вместе с тем, ложиться вечером в кровать с сознанием, что сделано за день очень мало. При этом я совершенно лишился своей личности и в том отношении, что я не мог теперь ничего делать самостоятельно, ибо Дашков оказался очень ревнивым к власти и не позволял мне ничего делать без него. Получилось положение, которое меня совершенно не удовлетворяло, и я стал подумывать о перемене работы. Предложение Дашкова шло навстречу этой мысли, и я за него уцепился, надеясь в Варшаве найти что-нибудь более подходящее.

Выехал я на следующий же день вместе с профессором Цеге-фон-Мантейфелем, который вез с собой группу профессоров-хирургов для распределения их в Варшаве в качестве консультантов по отдельным армиям. В числе их был профессор Миротворцев, с которым мне позднее пришлось много работать, и профессор Бурденко, занявший после революции место начальника Главного военно-санитарного Управления. Кажется, это было 18-го Августа, и в этот день, к вечеру, мы узнали впервые про Самсоновскую катастрофу. Понятно, что бодрое до того у всех нас настроение сразу резко понизилось, тем более, что никаких деталей мы не знали. На некоторых станциях настроение было тревожное, ибо между железной дорогой и немецкой границей наших войск не оставалось.

На следующий день в Варшаве увидели мы и реальные результаты боев 2-ой армии - раненых из левофланговых ее корпусов. Составить себе картину того, что произошло, было, однако, еще совершенно невозможно; не могли сказать мне даже того, какие корпуса погибли, хотя и стало выясняться, что кроме двух корпусов, погибших целиком, сильно пострадали и другие корпуса 2-ой армии. Однако сряду же по приезде я узнал, что войска 9-ой армии перебрасываются в направлении Люблина, где в это время началось генеральное наступление австрийцев, и что посему Тимрот оставляет Варшаву, где остается один Гучков. Таким образом, главная цель моей миссии отпала, и я, познакомившись с положением дел в Варшаве и с кипучей деятельностью, раз-

витой Гучковым, отправился вместе с Цеге-фон-Мантейфелем в Белосток переговорить с генералом Даниловым о текущих делах. Получив с него все необходимые указания и узнав, что в состав фронта войдет и вновь формируемая 10-ая армия, я, вместе с тем, впервые получил здесь некоторую картину той катастрофы, которая произошла.

Выше я говорил уже, что план нашей мобилизации был рассчитан на необходимость в первом периоде войны отходить, ибо наша мобилизация приблизительно на неделю отставала от германской. Однако так как сразу после объявления войны выяснилось, что против нашей армии германцы оставляют лишь слабые силы и всю массу своих войск направляют против Франции, то пришлось нам, вместо отхода, переходить в наступление, к чему мы совершенно не были готовы. Началось оно, как я уже говорил выше, наступление 1-ой армии генерала Ренненкампа через две недели после начала войны, приведшим после удачного боя у Гумбиннена к занятию нами всей Восточной Пруссии вплоть до Инстербурга, причем кавалерия наша доходила до окрестностей Кенигсберга (в частности, мой брат с принятым им после Каушена эскадроном занял Фридлянд, где в 1807 году был разбит наш прапрадед). Однако двигаться дальше Ренненкампа не решался без поддержки бывшей на его левом фланге 2-ой армии, а так как она задерживалась, то и он остановился. Это замедление вызвало недовольство свыше, ибо положение во Франции становилось грозным, оттуда неслись просьбы о помощи, на которые было необходимо ответить. Посему Верховным Главнокомандующим и было дано приказание о беззамедлительном наступлении в Восточную Пруссию 2-ой армии, на скорейшем выполнении которого он и настаивал. Штаб Северо-Западного фронта отлично сознавал, как, впрочем, и сам Верховный Главнокомандующий, что наступление это не подготовлено, но под давлением свыше, против которого он сперва тщетно протестовал, также налегал на Ренненкампа и Самсонова, а после первых удач 1-ой армии уже, главным образом, на последнего из них.

Не будучи в состоянии уклониться от исполнения этого приказания, Самсонов и начал наступление, как мне говорили видевшие его в эти дни люди, без какой-либо веры в его успех. Вся его армия состояла в эти дни из пяти корпусов, из которых правофланговый, 6-ой армейский, был отделен расстоянием в 30 верст в обе стороны от ближайшего корпуса 1-ой армии и от своего соседа с левой стороны, 13-го корпуса, за этим опять был пустой промежуток около 10-15 верст до 15-го корпуса, за которым шли еще два корпуса. Главное свое внимание Самсонов устремил на свой левый фланг, против которого были главные германские силы. Однако так как наступление Ренненкампа после первых успехов остановилось, то германцы получили возможность оторваться от него и бросить часть войск против Самсонова, не ожидая прибытия в Восточную Пруссию 2-х корпусов, взятых им с Западного их фронта, что явилось там одной из главных причин их неудачи на Марне. В первые же дни наступления Самсонова немцы отходили почти без боя, особенно на правом фланге армии, которая быстро шла за ними, исполняя полученное ею и настойчиво повторяемое приказание, теряя при этом связь с тылом и не будучи в состоянии держать ее в полной мере также между отдельными своими корпусами. Уже 13-го Августа 13-ый корпус дошел, например, до Алленштейна, который и занял. Но уже на следующий день германцы перешли

в наступление и началась катастрофа. 6-ой корпус и оба левофланговые - 1-ый и 23-ий, понеся большие потери в личном составе, а частью и материальные, смогли отойти. 15-ый корпус, на который пал главный удар, после упорного боя, в котором он понес громадные потери, должен был, обойденный со всех сторон, несмотря на свой героизм, сдаться по израсходованию всех снарядов и патронов. 13-ый же корпус, которым командовал генерал Ключев, как тогда говорили, сдался почти без боя, потеряв в первый же день свои парки и обозы, захваченные немцами в Алленштейне.

Катастрофа эта вызвала специальное расследование, которое и выяснило некоторые из ее причин. Кроме неподготовленности наступления, громадную роль сыграла и неудовлетворительность высшего командного состава. Командующий армией генерал Самсонов последние годы перед войной прослужил в Туркестане и потерял знакомство с западным фронтом, хотя и был раньше начальником Штаба Варшавского Округа. Прибыв на фронт уже после начала войны, он не знал ни войск, ни своего штаба. Что он сознавал невозможность наступления, я уже говорил выше, и, тем не менее, он должен был его осуществить.

В конце операции он погиб при таинственной обстановке, которая дала повод к многочисленным рассказам: то говорили, что он жив и находится, переодетый солдатом, в плену в Германии, то, наоборот, утверждали, что он погиб, но не в бою, а сам покончил с собой, не желая отдаться в руки врагу. Для проверки справедливости последнего предположения А.И.Гучков с согласия наших военных властей обратился через посредство парламентаря к германским властям за разрешением проехать через германские линии к месту, где был погребен, по немецким данным, Самсонов. Разрешение немцами было дано, и Гучков, в сопровождении рассказывавшего мне позднее про это его помощника д-ра Пучкова, был проведен к могиле Самсонова, которая была открыта, и Гучков мог убедиться, что в ней был погребен именно Самсонов. Что касается до предположения о самоубийстве, то оно возникло в связи с условиями его исчезновения. Как мне рассказывали, часть штаба армии, в последний день боя, когда катастрофа уже была фактом, поздним вечером пешком отходила по лесу; как отделился от нее Самсонов, по-видимому, сразу не заметили, и когда затем спохватились и стали его искать, то уже не нашли. Из разговоров Пучкова я не вынес определенного впечатления; можно ли было вывести заключения о причине смерти генерала, но, по-видимому, безусловного убеждения о самоубийстве у него, и у Гучкова не составилось.

/.../ В вопросе о Самсоновских боях многое осталось невыясненным и едва ли при гибели сейчас почти всех главных их деятелей удастся окончательно установить, кто был виноват в этой катастрофе. Сам Ключев утверждал, что он по этой дороге пошел по приказанию Самсонова и что у него осталось это письменное приказание (он его показывал в Копенгагене генералу Калишевскому). В общем же следует сказать, что во всей самсоновской катастрофе неудовлетворительность высшего личного состава более, чем когда-либо за все время войны, сыграла свою пагубную роль. Утешением же для русской армии остается лишь то, что этой дороною ценою она отвлекла из Франции значительные силы, что в свою очередь, по утверждению даже германских военных писателей, сыграло громадную роль в исходе сражения на Марне.

Но все это стало известно лишь впоследствии. Тогда же, когда я был в Белостоке, все это только еще намечалось в самых крупных чертах. Детали еще совершенно отсутствовали. Меня лично интересовала судьба 13-го корпуса, ибо в состав его был призван из запаса мой второй брат, но в генерал-квартирмейстерской части фронта мне смогли сказать только одно, что из всего корпуса кроме отдельных офицеров и солдат вышло цельной единицей всего около 200 человек Звенигородского полка. В числе вернувшихся офицеров был брат моего школьного товарища Офросимова, который, несмотря на рану в ногу, смог пробраться лесами до наших линий, и потом рассказывал, что он лично видел, как немецкие солдаты добивали в лесу найденных ими наших раненых. Вообще по общему отзыву, в этом периоде войны с Германской стороны было проявлено немало жестокостей и варварства, которые потом уже не встречались в такой степени, но которые, тем не менее, навсегда положили пятно на так называемый культурный немецкий народ. Что можно сказать, например, про такой случай, бывший в первые дни войны в Берлине, про отъезд оттуда русского посольства, когда графиня Александра Эдуардовна Тотлебен, прикладывала платок к разбитому чем-то брошенным лицу ее спутника, одного из чинов посольства, а прилично одетый господин с золотыми очками стал наносить ей по руке удары палкой? Или что сказать про то, что когда взятых в плен при Самсониевской катастрофе везли по железным дорогам, то собиравшаяся около станций толпа ругала и угрожала им и плевала в лицо, а элегантные дамы, стоя в автомобилях, показывали пленным кулаки?

В Белостоке я пробыл тогда только до вечера, когда поехал дальше, обратно в Вильно. На прощанье Данилов сообщил мне еще, что на место начальника санитарной части фронта назначится генерал Рейнбот, известный по своей судимости за разные злоупотребления по должности Московского градоначальника и только что заменивший свою немецкую фамилию на русскую - Резвого. Хотя я знал его в прошлом, как человека очень умного и с административным талантом, но репутация его была столь определена, что я выразил Данилову мои сомнения по вопросу о том, насколько удобно было его назначать на столь видный пост. На это я получил от него ответ, что после наших первых успехов в Восточной Пруссии были уже намечены (кем - я, к сожалению, тогда не спросил) кандидаты для замещения постов генерал-губернаторов как Восточной, так и Западной Пруссии, именно Рейнбот и Курлов¹⁾, а так как ныне ожидать завоевания последней, по крайней мере, в ближайшем будущем, не приходится, то и нужно дать Рейнботу другое назначение. Таким образом, Рейнбот и стал начальником санитарной части. Насколько я о его деятельности в этой должности слышал - ибо лично мне не пришлось с ним тут работать, работал он очень интенсивно и успешно, но, тем не менее, вскоре должен был уйти. Мне кажется, что главным образом повлияло тут его прошлое, ибо из-за него ему не прощали ни малейшей ошибки, ни малейшего неуспеха, а без них на войне не может обойтись никто.

¹⁾ Бывший товарищ министра Внутренних Дел, судившийся в связи с расследованием по делу об убийстве Столыпина, человек самых заурядных способностей, без административного таланта, притом очень сомнительных нравственных качеств. Если Рейнбота во время его процесса защищали многие безупречные общественные деятели, то у Курлова таких защитников не было.

21-го Августа я был в Вильне, где холодная встреча меня Дашковым, обидевшемся на меня и на Цеге за то, что мы имели самостоятельный разговор с Даниловым, дала окончательный толчок моему решению уйти из Управления Главноуполномоченного на более самостоятельную должность. Так как я привез известие о предстоящем формировании 10-ой армии, то я и попросил о назначении меня в нее Особоуполномоченным. Дашков на это согласился, и в течение двух дней я устроил все свои дела, подыскал себе начальника будущей моей канцелярии и заведующего бухгалтерией, получил необходимый аванс и уже 23-го выехал вновь в Варшаву, где должен был формироваться штаб 10-ой армии. Мои будущие сотоварищи по работе - делопроизводитель Крестьянского банка Н.В.Миштовт и студент-технолог А.Н.Селянин - должны были выехать следом за мной. Так как работа в районе армии для одного человека была непосильна, то тут же, в Вильне, было выяснено, кто отправится со мной в качестве моих помощников. Кроме трех лиц, которые проработали потом со мной до лета 1915 г. и которые уже были в Вильне, я протелеграфировал тогда же о приезде в Варшаву двум лицам, с которыми мне привелось потом провести немало тревожных и тяжелых минут. Это был мой земляк и мой уездный предводитель дворянства К.И.Шабельский, совсем еще молодой человек, и тоже молодой человек, председатель Волоколамской земской управы А.А.Эйлер. С первым я был в очень хороших отношениях, второго же совершенно не знал лично, и доверился всецело его репутации, которая меня не обманула; позднее он играл видную роль в Земском Союзе, а после революции занял трудный пост Московского губернского Комиссара, который и занимал, кажется, до самого большевистского переворота.

Дорога прошла на этот раз вполне спокойно, и утром 24-го я был в Варшаве. Попав в этот же день по делам Креста к высшему военному начальнику в городе - командиру 3-го Сибирского корпуса Радкевичу, я узнал от него, что только что пришла телеграмма о летящих на Варшаву аэропланах. В то время это было новостью, о которой стоило говорить, и все возмущались немцами, бросившими в Младе бомбы, убившие там несколько человек. Впрочем, в этот раз аэропланы до Варшавы не долетали. Тут же выяснилось, что формирование штаба 10-й армии затягивается, и в Варшаве о нем никаких точных сведений не имеется. Поэтому я охотно принял предложение А.И.Гучкова проехать вместе с ним на автомобиле в Люблин, где в это время уже шли упорные бои и где наша армия под упорным натиском всех австрийских сил, должна была понемногу отходить к железнодорожной линии Холм-Люблин.

Еще в Вильне я узнал, что работающим в Красном Кресте дана форма, однородная с формой военных чиновников, и посему пришлось ее заводить себе. По этому поводу познакомился я совершенно случайно с варшавскими комиссионерами-евреями. Дольше всего искали я и мои спутники шашки, пока, наконец, на улице к нам не пристал какой-то комиссионер, который свез нас на глухую улицу, где мы в маленькой лавочке нашли две плохенькие, но для нас вполне пригодные шашки. На этом, однако, наш комиссионер не успокоился, и, сидя у нас в ногах на извозчике, стал нам предлагать все, что, по его мнению, могло нам понадобиться, дойдя до предложения верховых лошадей и поездки к женщинам. Чтобы отвязаться от него, мой спутник сказал ему, что нам нужны автомобили, и вот на следующее утро наш комиссионер отыскал нас в гостинице

(адрес которой мы ему не сказали) и предложил несколько автомобилей, несмотря на их реквизицию.

Уезжая в Люблин, я оставил в Варшаве обоих моих спутников, один из которых барон Н. Н. Рауш-фон-Треубенберг воспламенился мыслью оборудовать всем необходимым отряд санитаров-добровольцев, образовавшийся по инициативе жандармского полковника на Брестском вокзале, и с этим отрядом отправиться на фронт. В состав этого отряда вошла большей частью молодежь, среди которой было немало студентов, но были и люди средних лет. В числе волонтеров были и русские, и поляки (они были в большинстве), и евреи. Через несколько дней этот отряд прибыл в Люблин вполне снабженным всем необходимым, но попал уже к окончанию здесь работы. Позднее многие из первоначального состава этих волонтеров ушли из него, но кое-кто из них оставался в нем еще летом 1916 года, и отряд продолжал носить свое первоначальное название. Вначале лица, ставшие во главе его слишком его рекламировали, и это вызывало на него некоторые нарекания, но потом это прошло, и с отрядом примирились. Характерной особенностью этого отряда, по крайней мере, вначале, объясняемой его зарождением из жандармского центра, являлась та система взаимного наблюдения, в которой принимали участие, по крайней мере, некоторые волонтеры: евреи следили за поляками, и наоборот, и результаты своих наблюдений сообщали начальнику отряда, который, видимо, очень этим увлекался; русские следили и за евреями, и за поляками. В моем ведении этот отряд пробыл очень недолго, всего около 2-х недель, и никакого следа о себе в нашем районе не оставил.

Два дня, проведенные в Варшаве, ушли у меня, главным образом, на ознакомление с тем делом, которое уже успел наладить здесь Гучков, и которое как раз выдержало в предшествующие дни тяжелые испытания. В Варшаву шли раненые из левофланговых корпусов 2-ой армии, дравшихся в районе впереди Млавы, и посему эвакуировались они по Привислянской железной дороге, очень слабо на этом участке оборудованной и с малой провозоспособностью. Неудача, понесенная армией, вызвала необходимость подвоза к ней свежих войск, а с другой стороны эвакуацию головного участка дороги. Насколько это вещь трудная даже при отходе без неудачи, знает всякий, кто только был на войне, а при неудаче эти затруднения удесятерятся. В данном случае они именно и имели место, и ничтожное расстояние от Млавы до Варшавы поезда шли часто по трое суток. Так как при загруженности не могло быть и речи о пропуске по ней санитарных поездов, то раненых пришлось вывозить в простых товарных вагонах или даже на платформах, даже не посылая с поездами санитарного персонала. Питательных пунктов по дороге было мало, кухонь при поездах не шло, и положение раненых было ужасно. В заключение их злключениям, о том, что в простых товарных поездах есть и вагоны с ранеными, иногда не давали знать, и тогда даже в Варшаве эти вагоны первоначально попадали на запасные пути, и раненые выгружались не сразу. Вполне понятно, что многие из них по дороге умирали, не выдерживая этих ужасных условий перевозки. Уже тут блестяще, в первые же дни войны, оправдалось то, что я предсказывал в Комиссии Государственной Думы еще в 1908 году на основании опыта японской войны, а именно, что пользоваться санитарными поездами в разгар больших боев при слабости наших железных дорог и

при громоздкости этих поездов, придется лишь в ничтожной мере.

Напомню, что во время боев на Шахе и под Мукденом приходилось увозить раненых на чем попало: и в теплушках, и в простых не отапливаемых вагонах, ибо санитарные поезда задерживались, главным образом, в тылу. И вот тут громадную роль сыграли организованные Красным Крестом кадры временно-санитарных поездов, состоявшие из 6 вагонов - кухни, кладовой, цейхгауза, перевязочной, аптеки и 2-х вагонов для персонала; к ним прибавлялось от 30 до 35 товарных вагонов, в которые клались раненые; эти кадры, благодаря своему малому объему, могли легко продвигаться куда угодно. Для оборудования этих вагонов в цейхгаузе и аптеке имелись сеники, подушки, одеяла, белье, посуда, фонари, ведра и необходимый запас медикаментов и перевязочного материала. В 1908 году я и предложил подготовить такие же кадры и военно-санитарные поезда. Предложение мое было принято, и кадры военно-санитарных поездов с тех пор стали фигурировать во всех программах по усовершенствованию армии, но сами эти кадры получили совсем другой характер, число вагонов в них было значительно увеличено присоединением классных вагонов для тяжелораненых и больных, а через это поезда сии стали значительно более громоздкими, и продвигаться так легко, как кадры, которые я имел в виду, уже не могли.

Таким образом, опять получилось прежнее положение, которое и было столь печально иллюстрировано эвакуацией под Млавой. Ко времени начала ее в Варшаве еще не успел развернуться надлежащим образом ни один госпиталь Красного Креста, кроме, конечно, местных Варшавских, но несколько госпиталей Красного Креста успели только что подойти. За них сряду схватились, отвели им помещения в учебных заведениях и, ранее, чем они успели разобрать свое имущество, наскоро перевезенное, сюда стали привозить сотнями раненых. Так, на Праге, в женской гимназии, утром был помещен 1-ый Георгиевский госпиталь, а уже к вечеру в него перевезли 800 раненых, хотя и персонал, и оборудование его были рассчитаны максимум на 400 человек. Пришлось, конечно, класть раненых на пол, на солому, и думать сперва только о том, как бы их накормить и как бы справиться с теми, у кого промокшие или сбившиеся перевязки требовали немедленной помощи. Я был в этом госпитале на третий день, когда уже все легко раненые были эвакуированы, и он начал приводиться в нормальный вид хорошего лечебного заведения, но у всего персонала, проработавшего без отдыха трое суток, вид был совершенно измученный. Такая же работа выпала тогда и на долю других наших госпиталей и тоже в таких же ненормальных условиях. На вокзалах же были устроены громадные питательно-перевязочные пункты, которые Гучков поручил польскому Красному Кресту, носившему название Общества санитарной помощи. Это общество, участники которого носили на своих повязках и значках, кроме красного креста - эмблемы всего общества, еще изображение сирены - герба Варшавы, проявило здесь большую энергию, как теперь, так и позднее, во время всех боев, начиная с конца Сентября. Работали его представители всегда очень горячо и, безусловно, вполне бескорыстно, хотя хозяйственные их способности были, по-видимому, не идеальны, так что мне неоднократно приходилось слышать жалобы на неудовлетворительность пищи, которую они давали на своих варшавских пунктах раненым солдатам.

В результате всей этой громадной и энергичной работы к 25-му Августа Варшава была уже освобождена от всех раненых, могущих быть эвакуированными, и Гучков мог заняться другим делом. Им и явилась Люблинская операция, хотя, собственно, Люблин лежал вне его района, и там его лечебных заведений не было.

Выехали мы из Варшавы уже вечером и приехали в Люблин после полуночи, сильно продрогшие в этот чисто осенний вечер. По дороге, за Ивангородом, нам говорили, что накануне недалеко от шоссе показывались австрийские разъезды, но теперь отошли. Позднее мы действительно узнали, что в этот день наши войска перешли в наступление, и началось оттеснение австрийских армий.

На следующее утро, узнав наскоро о положении дел, мы отправились с Гучковым к командующему 4-ой армии генералу Эверту, который сообщил нам, что австрийцы оказывают везде крайне упорное сопротивление, и посему наше продвижение идет медленно, но что линия Холм-Люблин уже опять работает. Нужно сказать, что к этой линии австрийцы стремились особенно упорно и почти дошли до станции Травники. Лишь в последнюю минуту сюда начали подходить головные эшелоны 3-го Кавказского корпуса, которые высаживались, как рассказывали в Люблине, уже под огнем, и сперва задержали неприятеля, а затем и оттеснили его от железной дороги. К Люблину неприятель подходил настолько близко, что за сутки до нашего выезда из Варшавы с окружающих Люблин высот были видны разрывы австрийских снарядов. На следующий же день их видно не было.

Как раз против Люблина был выдвинут в бой гвардейский корпус, так что раненые из него доставлялись именно в Люблин. В числе их оказался ряд моих знакомых по Петербургу. Подвоз их в город производился самыми разнообразными способами - на санитарных двуколках, на грузовых автомобилях и более всего на местных крестьянских повозках, так называемых фурманках; последние - длинные, на двух осях - заполнялись глубоко соломой и сеном и оказались наименее мучительными для раненых. Наоборот, более всего жалоб вызывали автомобили, ибо им приходилось везти раненых не по шоссе, а большею частью по грунтовым дорогам, и трясло в них страшно. В Люблин раненых свозили, главным образом, на вокзал, где был устроен стараниями, главным образом, Красного Креста и местного польского общества большой перевязочный пункт. Отсюда все легко раненые эвакуировались прямо по железной дороге, а более серьезные направлялись в развернутые в городе лечебные заведения.

Однако, несмотря на все усилия, эвакуировать сряду всех, кого было возможно, оказывалось не под силу - бывали, уже при мне, дни, когда поступало 6-7 тысяч раненых, а вывозилось не более 5-6 тысяч раненых. Благодаря сему на вокзале бывали часы, когда раненые заполняли не только все громадные пакгаузы, отведенные под перевязочный пункт, но лежали на платформах и на большом дворе товарной станции на наскоро набросанной соломе. Особенно тесно бывало к вечеру и ночью, когда поступали раненые в течение этого дня. К ночи бои затихали, и поэтому под утро приток раненых сокращался, и являлась возможность несколько разобраться и привести все в порядок. Я, однако, увидел на вокзале все уже в сравнительно благоустроенном виде, когда дело

наладилось, но как мне рассказывали, в первые дни картина была ужасающая - толпы раненых и почти полное отсутствие медицинской помощи. Могу с гордостью отметить, что в числе самых первых начавших здесь работу были именно представители Красного Креста, и в их числе много поработавшие потом со мной - уполномоченный К.А.Гросман и студент В.Б.Ковалевский. Оба они приехали в Люблин, когда еще никого здесь не было, и именно они и начали налаживать перевязочно-питательный пункт на вокзале, причем на Ковалевского легла вся работа по оборудованию пункта всем инвентарем, медикаментами, и перевязочным материалом, которую он и выполнил блестяще, сразу зарекомендовав себя, несмотря на свои юные годы, энергичным, толковым работником.

Как я уже упомянул, все более тяжелые раненые, которых нельзя было эвакуировать, отправлялись в госпитали, куда поступали также и раненые, привозимые прямо в город, а частью и легко раненые, приходившие пешком. В результате все госпитали и лазареты в городе оказались переполненными до крайности, хотя в нем непрерывно открывались одно лечебное заведение за другим. Наиболее перегруженным оказался Люблинский военный местный лазарет. В тот же день, когда я в нем был, в нем было 2300 раненых, при, 400 штатных местах. Что в нем происходило, трудно описать: ранеными были заполнены не только все палаты, но и все коридоры; дабы выиграть место, пришлось убрать не только кровати, но и сеники, так что раненые лежали прямо на соломе, постланной на полу, причем ее было только немного больше под головой. В коридоре между ранеными оставался только маленький проход, по которому мог идти один человек, так что при встрече приходилось искать место, куда бы поставить ногу, чтобы не наступить на раненого. Когда мы шли по коридору, впереди нас вдруг раздался дикий вопль: «Возьмите его, возьмите его!» Оказывается, один раненый - с обоими выбитыми глазами - захотел пить, а так как персонал лазарета, сбившийся окончательно с ног, не успевал своевременно помочь всем, то он и решил сам идти на поиски воды. Лишенный же зрения, он двинулся ошупью вдоль по стенам, наступая на лежащих около них раненых, которые и подняли крик. Словом, картина была из исключительно тяжелых. Весьма возможно, что, несмотря на все трудные условия в лазарете при другом старшем враче было бы лучше, но во главе его оказался человек того типа, о которой я говорил выше: все свое внимание сосредоточивавший преимущественно на узкой хозяйственной стороне дела и запускаявший медицинскую. Впрочем, когда я был в лазарете, он был уже смещен и как раз сдавал должность своему преемнику. /.../

Между тем, в течение Сентября и первых чисел Октября переброска войск закончилась, опасность для Варшавы и Ивангорода была устранена. И посему на 10-ое и на 11-ое Октября было назначено общее наступление наших армий, причем около Ивангорода, где и должен был наступать правифланговый корпус 9-ой армии - Гвардейский - наступление началось 10-го, а около Новой Александрии, где переправа была возложена на вновь вступившие в состав армии 25-ый, а также и на 14-ый корпуса - 11-го. Выше по Висле, до Сана, и по нижнему Сану пока ничего не намечалось, ибо весь этот громадный район занимал один лишь 18-ый корпус. Так как Ивангород был достаточно снабжен лечебными заведениями, то с гвардией пошли туда только приданные ей

подвижные учреждения Красного Креста. Когда же перед рассветом 11-го началась переправа у Новой Александрии, то туда сразу с первым же поездом двинулся и отряд Шабельского и питательный поезд Офросимова, которые и прибыли сюда около 4 часов дня, когда еще продолжался, правда, уже редкий, обстрел станции. Так как станция была разрушена, да и мала, то пришлось и здесь использовать пакгаузы, отделив меньшую их часть под перевязочную, всю затянутую белой материей, а большую - под раненых. Самое трудное было теперь, как и в других местах, наладить отопление, ибо наступили холода и уже ослабевшие вследствие потери крови раненые под открытым небом застывали и нуждались в тепле, которое приходилось поддерживать при помощи железных печей, дававших тепло, пока топились, и сразу выстывавших, когда огонь гас. В общем, все-таки в следующие дни, когда пакгаузы эти не были сплошь набиты ранеными, лежавшими вповалку на соломе, они имели довольно благообразный вид.

Но с 11-го по 14-ое Октября положение было крайне тяжелое: поездов, хотя бы товарных, для вывоза раненых было слишком мало и они заполняли все. Весь персонал работал без отдыха, одни - в перевязочной, другие - на питательном пункте, но только 13-го стало полегче. Но если тяжело было положение на станции, то еще хуже было оно за Вислой, откуда не сразу удалось наладить вывозку раненых по единственному пока понтонному мосту, по которому без перерыва продолжалась переправа все новых и новых войск, шедшая, притом, все время под обстрелом неприятеля, правда мало действительным. В первый день боя переправился 25-ый корпус, который, несмотря на упорное сопротивление неприятеля, продвинулся на три версты и занял господствующий над рекой кряж. Вечером венгерская пехота, подведенная из резерва, с музыкой бросилась в контратаку на нашу 3-ью Гренадерскую дивизию, но была с громадными потерями отброшена назад. Между рассказами об эпизодах боев этого дня, мне пришлось тогда же слышать, особенно врезавшийся в память, рассказ о командире 70-ой дивизии, кажется, генерале Белове, который, когда дивизия его дрогнула, приказал поставить себе на улице стол с самоваром и, спокойно попивая чай, несмотря на сильный обстрел и близость неприятеля, останавливал отходящие расстроенные группы солдат, начинал с ними мирный разговор, ободрял их, устраивал и вновь бросал в бой. В результате неприятель был сперва сдержан, а потом и отброшен. На следующий день переправился и 14-ый корпус, и немцы были принуждены отступить, тем более что с севера на них нажимала гвардия, взявшая его Ивангородские позиции.

В этот день я познакомился с командиром 14-го корпуса, очень симпатичным генералом Войшин-Мурдал-Жилинским, руководившим всей Ново-Александринской операцией. Едва не отставленный в Августе от командования за отход его корпуса, хотя и с боями, от Красника, вызванный тройным превосходством сил неприятеля, он прекрасно зарекомендовал себя в последующих боях, и еще летом 1916 года продолжал командовать своим корпусом.

12-го днем, побывав у него в штабе, расположившемся в помещении сельскохозяйственного института, который еще весь день 11-го и утро 12-го сильно обстреливался австрийской артиллерией и, узнав от него подробности о ходе операций, я прошел к реке, которую австрийцы упорно обстреливали, напрасно нащупывая наш понтонный мост; их шрапнели рвались более чем в

полуверсте от него и притом на страшной высоте: это был постоянный недостаток австрийской артиллерии, от которого она не могла избавиться еще летом 1915 г., когда я в последний раз видел ее стрельбу. Зато красновато-малиновое облачко при разрыве австрийских шрапнелей понемногу расплывающееся и переходящее в серое было удивительно красиво, куда красивее разрыва наших или немецких шрапнелей. Один из них мне удалось снять моим кодаком, хотя и попав при этом в близкое соседство с другим разрывом - это было первое мое личное знакомство с боевой обстановкой. Как раз в эти дни, кажется, 14-го или 15-го, через Н.Александррию проехал принц Александр Петрович Ольденбургский, незадолго до того назначенный Верховным Начальником Санитарной и Эвакуационной части. Я уже много говорил выше о разных непорядках в санитарном деле, особенно сильных в первые месяцы войны, они-то и привели к мысли о создании особого управления для объединения всего дела санитарии и эвакуации. На первый взгляд вполне правильная, она оказалась, однако, проведенная в жизнь, страдающей одним крупным недостатком: если выделение той или другой отрасли государственного управления в самостоятельное ведомство возможно в условиях мирного времени, то на театре военных действий, где необходимо единство управляющей воли, оно оказалось неосуществимым. Наделенный чрезвычайными полномочиями, Верховный начальник Санитарной и Эвакуационной части попытался было распоряжаться и в районе фронта, но встретил здесь противодействие. Как мне рассказывал Н.А.Данилов, после одной из таких попыток, ген.Алексеев, тогда главнокомандующий Северо-Западным фронтом, написал принцу категорическое письмо, в котором, указывая на свои права, исключающие применение в подчиненном ему районе других, равных ему по положению, властей, просил впредь воздерживаться от вмешательства в дела его фронта. После этого случаи такого прямого вмешательства действительно, прекратились. Таким образом, объединение управления санитарной частью сохранились только для тыла, хотя и то более внешнее, ибо дальше вниз все осталось по старому. Но, кроме этого основного недостатка создания должности Верховного Начальника Санитарной части, по существу её, не меньшим недостатком её явился неудачный выбор лица, занявшего эту должность. Принца Алекс.Петр.Ольденбургского я знал еще с детства, как попечителя Училища Правоведения, в котором я воспитывался, начиная с 11 лет. Это был человек, в сущности, добрый, но недалекий, страшно увлекающийся, непостоянный и, главное, невероятно горячий и взбалмошный. Все эти качества заслужили ему прозвище "Сумбур-паши", которое удивительно подходило к нему. Уже в Правоведении редкое его посещение обходилось без скандалов: влетая, как ураган, почти всегда на что-нибудь распаяясь, он никогда долго у нас не засиживался, оставляя после себя массу рассказов, иногда возмущенных, но большею частью иронических. В первые времена моего пребывания в Училище принц увлекался зубоврачебным искусством, особенно рваньем зубов; тогда ходил анекдот, что к нему специально для удовлетворения этой его страсти командировали ежедневно страдающих зубной болью солдат гвардейского корпуса, которым он тогда командовал. Позднее он стал увлекаться бактериологией, в результате чего получилось на этот раз благое учреждение – институт экспериментальной медицины в Петрограде. Прошло еще несколько лет и появилось увлечение Русской Ривьерой и в частности Гаграми. Позднее

много говорили про то, что он отделил здесь лучшую часть территории, которая была затем пожалована ему в собственность, и в результате дело общепольное он превратил в источник обогащения для себя. Хотя против этого факта возражать нельзя, однако, мне кажется, что все это было проделано им без всякого сознания некрасивости этого, ибо всю свою жизнь принц не умел считать деньги и очень легко раздавал их без всякой задней мысли и без всякой личной заинтересованности, благодаря чему он оказался задолго до революции совершенно разоренным, и лишь покупка Уделами его образцового имения "Рамонь" спасла его тогда временно от банкротства. Не обошлось без анекдотов и с Гаграми: рассказывали, напр., что, устраивая этот курорт, принц обратил особенное внимание на акклиматизирование в нем попугаев и ихневмонов, последних потому, что они, кроме крокодиловых яиц, уничтожают якобы, ядовитых змей. Вполне понятно, что из этой затеи ничего не вышло - попугаев разворовали, а ихневмоны подошли первой же зимой, после чего новых не завели, ибо интерес к ним у принца уже пропал.

Ко времени начала войны принцу было уже около 70 лет, но энергия его оставалась прежней, и с места он стал носиться по всей России, наводя повсюду панику своими скоропалительными и большею частью неосновательными распоряжениями и устранения людей от должности часто по самым вздорным причинам. Так в Смоленске он устранил губернатора Кобеко за то, что тот не знал на память, без справки в ведомости, сколько в губернии лазаретных мест и сколько из них занято в данный момент. В Пятигорске он удалил от должности директора Кавказских Минеральных вод Тиличеева, а когда последнего выбрали председателем Пятигорского комитета Кр.Креста, то предписал Главн. Управлению устранить его и отсюда. Между тем, отзывы о Тиличеве все сходятся, что это был лучший за последние 25 лет директор Кавказских Вод; отношение же к нему на месте выразилось в том, что сряду после его устранения Пятигорская городская дума выбрала его городским головой. В Петербурге, как мне рассказывал председатель областного комитета союза городов Э.А.Эрштрем, принц собирался объявить выговор городскому голове гр.И.И.Толстому и посадить под арест заведующего пунктом на Варшавском вокзале гласного Маргулиеса за то, что на этом пункте кровати были поставлены в ином порядке, чем тот, который указал принц, но который оказался неудобным. Правда, все эти казусы имели место уже позднее, но принца Ольденбургского в России знали хорошо, и посему, когда в Н.Александрии, на пункте Шабельского узнали про его приезд, сряду заволновались. Впрочем, все приготовления к встрече ограничились тем, что вокруг пакгауза посыпали желтого песочку и лишний раз везде подмели. Случайно за 1/2 часа до принца подъехал сюда и я и принял участие в его встрече - все свелось к тому, что он прошел по платформе и по пакгаузу, поглядел через открытую перед ним дверь на работу в перевязочной, ни с кем ни о чем не поговорил, и, сделав лишь одно указание о необходимости надставить одно звено на трубе одной из чугунок, уехал, пробыв в Н.Александрии всего 15 минут; уже стоя на площадке вагона, он поручил мне передать его благодарность всему персоналу пункта за его работу. Вот все результаты его посещения. Между тем, для него потребовался экстренный поезд, пропуск которого задержал прибытие очередного санитарного поезда. Нужно сказать, что вообще у нас экстренным поездам, и притом идущими сплошь да рядом не по графику, и,

следовательно, сбивающими всё движение, злоупотребляли до крайности, особенно в первом периоде войны.

После переправы началось быстрое оттеснение неприятеля от Вислы. Потерпев неудачу около Варшавы и далее к югу, сплошь до Н.Александрии, он уже не пытался более задерживаться, а постепенно отходил к своим границам. При отходе его он не успел подобрать своих раненых, оставшихся лежать по полям и лесам против Новой Александрии и посему в течение нескольких следующих дней здесь от времени до времени раздавались одиночные выстрелы; эти забытые несчастные привлекали ими к себе внимание победителей в надежде, что кто-нибудь зайдет, услышав их, в те уединенные места, где они лежали. Вечером, кажется, 13-го, я проехал с Офросимовым в местечко Зволень, расположенное на пол дороге к Радому, где оставалось будто бы немало раненых наших и австрийцев. Тут уже пошел лазарет Мраморного Дворца, по моему совету приобретший себе в Люблине полный обоз, и посему Офросимов захватил с собой лишь два больших бидона щей, табаку и папирос. В Зволене мы, действительно, нашли порядочное число раненых, но почти исключительно австрийцев - русских было всего два, захваченных австрийцами в плен под Ивангородом и теперь безумно обрадованных своим освобождением. Все эти раненые были собраны в школе и в церкви, где мы и нашли их лежащими в полной темноте; голодных между ними оказалось мало, ибо перед нашим приездом их уже успели накормить, но на табак они все набросились, ибо уже несколько дней его не имели. Вскоре после нас подошел лазарет Мраморного Дворца, который мы обогнали под самым местечком, и принялся сразу за перевязку раненых, многие из которых оставались уже несколько дней без медицинской помощи. На обратном пути нас остановил на шоссе военный врач вопросом, нет ли у нас с собой перевязочного материала: как оказалось, здесь же рядом в деревне около шоссе кипела работа по перевязке собираемых в лесах австрийцев. Перевязочный пункт был устроен в маленькой халупе, причем операционным столом служили две голые доски, на которые поочередно клади раненых, после перевязки относимых в соседние сараи, где солома предохраняла их от холода. Здесь очень пригодились щи Офросимова. //...//

(Из личного архива Андрея Георгиевича Римского-Корсакова)